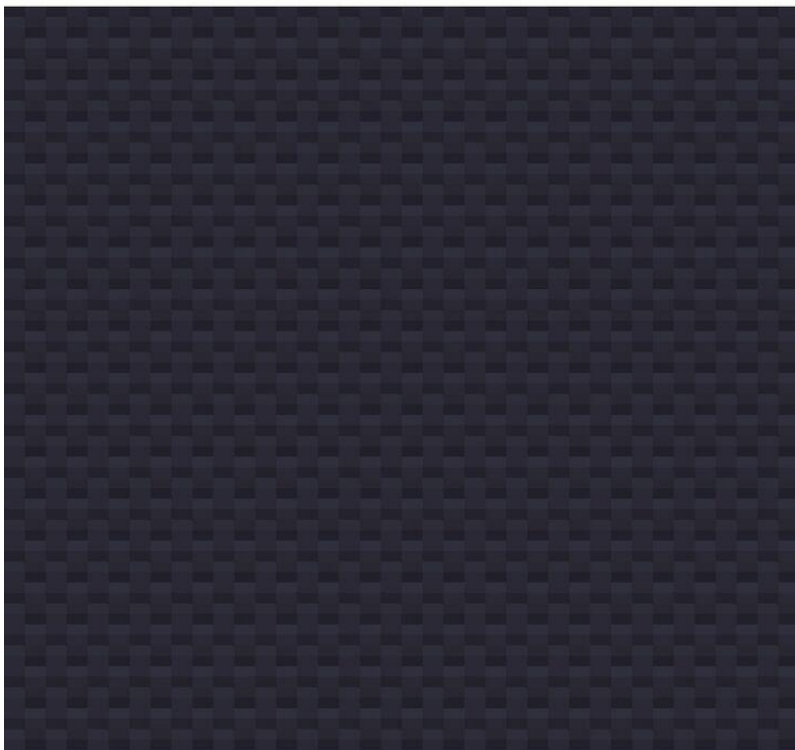


18+

БУЛАТ БУЛАТОВИЧ УНАЙБАЕВ

Не шуми



Булат Унайбаев

Не шуми

<https://litres.ru/74249313>

ISBN 9785007049399

Аннотация

«Не шуми» — сборник рассказов о детях, выросших рядом с алкоголизмом, страхом и домашним насилием. Это книга о тех, кто слишком рано научился молчать, прятать ножи, считать бутылки, закрывать рот младшим и понимать настроение взрослого по звуку ключей в двери.

Содержание

Предупреждение	5
Часть первая. Пятница	6
Пятница	7
Синий пакет молока	10
Шкаф	13
Балкон	16
Батарей	19
Комната без двери	21
Запах дыма	23
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Не шуми

Булат Булатович Унайбаев

© Булат Булатович Унайбаев, 2026

ISBN 978-5-0070-4939-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предупреждение

В тексте есть сцены домашнего насилия, угроз, детской запущенности, зависимости, пожара, смерти, психологической травмы и последствий жизни в небезопасной семье.

Описания намеренно не превращены в инструкцию или смакование жестокости; цель книги — показать страх ребенка и цену молчания вокруг него.

Все персонажи, события, адреса, номера квартир, названия домов и обстоятельства вымышлены. Любые совпадения с реальными людьми, адресами, организациями или событиями случайны. Книга не копирует реальные комментарии, интервью или публикации; социальный контекст использован обобщенно. Текст не является документальным свидетельством, журналистским расследованием, медицинской, юридической или психологической рекомендацией.

Часть первая. Пятница

Здесь дети еще не знают слов «травма» и «насилие». Они знают другие слова: пятница, ключи, шкаф, балкон, батарея.

Пятница

Пятница начиналась не вечером. Она начиналась в школе, на третьем уроке, когда у всех уже были планы: кино, гости, пицца, ночевка у подруги. У меня планы были другие: успеть домой раньше отца, спрятать ножи, убрать со стола стеклянную вазу и проверить, закрывается ли дверь в ванную. Я знала расписание автобусов лучше взрослых. Знала как бежать через двор так, чтобы портфель не бил по спине. В пятницу нельзя было медлить. В пятницу папа получал деньги. Мама говорила: «Сегодня только не раздражай его».

Это означало: не включай телевизор, не роняй ложку, не дыши громко. Она сама в такие дни ходила по кухне мягко, будто пол был стеклянным. Даже кастрюли ставила на плиту двумя руками, чтобы не звякнули. До семи вечера квартира еще была похожа на квартиру. Суп в кастрюле. Моя тетрадь по математике. Мамин халат на спинке стула. Потом в подъезде хлопала дверь, и весь дом будто втягивал голову в плечи. Шаги отца я узнавала среди сотни. Трезвый он поднимался ровно: шаг, площадка, шаг. Пьяный шел с паузами, будто лестница сама сопротивлялась ему. Он мог запеть между вторым и третьим этажом.

Мог ударить кулаком по перилам. Мог остановиться у нашей двери и долго искать ключ, который торчал у него из кулака. Мама шептала: «В комнату, не шуми». На полу, между

кроватью и шкафом, было мое место. Я называла его «яма». Если лечь боком, можно было спрятать лицо в покрывало и сделать вид, что меня нет.

Отец распахнул дверь так резко, что ручка оставила в стене рану. Он вошел и сразу начал искать виноватого. Виноватым могло быть все: холодный суп, горячий суп, грязная кружка, слишком чистая кружка, мама, которая молчит, мама, которая отвечает, я, которая выглянула, я, которая не выглянула. В тот вечер виноватой стала табуретка. Отец споткнулся об нее, хотя она стояла там десять лет, и ударил ее ногой. Табуретка упала, мама сказала: «Осторожно», и этого хватило.

В нем просыпалось что-то другое: тяжелое, чужое, с красными глазами и руками, которые не помнили, что они когда-то гладили меня по голове. Я лежала в своей яме и считала до ста. На семьдесят два мама заплакала. Утром квартиры выглядела как место, где прошел ураган. Мама замазывала синяк тональным кремом.

Отец сидел за столом, пил чай и спрашивал, почему у меня красные глаза. «Не выпалась», — сказала я. Он кивнул, будто поверил. Потом достал из кармана шоколадку. Теплую, помятую, с белым налетом. Положил передо мной и сказал: «Не дуйся. Папка же тебя любит». Я взяла шоколадку, потому что дети берут подарки даже у тех, кого боятся. Я ела ее маленькими кусками и чувствовала вкус не сладости, а страха и предательства. С тех пор шоколад для меня долго

пах перегаром.

Синий пакет молока

Голод в детстве не похож на голод взрослого. Взрослый может сказать себе: потерпи до обеда. Ребенок не знает, сколько длится «до». Мать пила тихо. Без драк, без песен, без соседей. Она просто исчезала, хотя лежала на диване. Ее глаза становились стеклянными, речь — ватной, руки — чужими. Я могла сидеть рядом и говорить: «Мам, я хочу есть», а она улыбалась в потолок и отвечала: «Сейчас, зайка». Через минуту засыпала. Мне было одиннадцать, брату четыре. Он не понимал слов «денег нет».

Он понимал только, что живот болит, а в шкафу нет печенья. Сначала он плакал. Потом перестал. Это было хуже. Ребенок, который перестает просить еду, становится каким-то маленьким стариком. В холодильнике иногда оставался кетчуп. Мы мазали его на черный хлеб, если хлеб был. Иногда я варила макароны без масла и соли. Разбавляла кипятком чайную заварку, чтобы брату казалось, что у нас суп. В тот день дома не было ничего. Даже сахара. Мать спала в пальто, потому что ночью собиралась куда-то идти и не дошла до двери. На полу рядом с диваном стояла бутылка. Я ненавидела эту бутылку больше, чем людей.

Люди хотя бы могли услышать. Бутылка только забирала. Брат сидел на кухне и держал ложку. Просто держал. Смотрел в пустую тарелку так серьезно, будто пытался уговорить

ее наполниться. Я пошла в магазин. Не за покупками — за чудом. У витрины с молоком было тепло, пахло хлебом и колбасой. Женщина передо мной покупала йогурты с клубникой, сыр, бананы. У нее в кошельке было много купюр, и она раздраженно искала мелочь. Мне казалось, что люди с деньгами должны светиться. Но она выглядела обычной. Синий пакет молока стоил немного. Для меня — целую жизнь. Я стояла рядом с полкой и смотрела на него.

Потом взяла и сунула под куртку. Я не умела воровать. Пакет был холодный, большой. Я дошла до двери магазина, когда продавщица сказала: «Девочка». Просто одно слово. Я остановилась сразу. Даже не побежала. Она вынула молоко из-под моей куртки. Люди в очереди смотрели так, будто я украла не молоко, а их хорошие мысли о мире. Кто-то сказал: «Малолетки пошли». Кто-то: «Родители где?» Я молчала. Потому что правду говорить было стыднее, чем воровать. Продавщица повела меня в подсобку. Я думала, вызовет милицию. Она закрыла дверь, поставила пакет на стол и спросила: «Есть хочешь?» Я кивнула.

Она дала мне батон и кусок сыра. Не ласково. Сердито, будто злилась на всех сразу. Потом сунула в пакет молоко, хлеб, две банки тушенки и сказала: «Беги. И чтобы я тебя больше не видела». Я бежала домой и плакала от облегчения, от стыда, от того, что меня пожалели, но сделали вид, будто выгнали. Брат ел хлеб двумя руками, запихивал в рот большие куски, давился, смеялся. Мать проснулась к вечеру, уви-

дела тушенку и спросила: «Откуда?» Я сказала: «Нашла». Она поверила. Или сделала вид. Она продала одну банку соседу за деньги на бутылку.

Я тогда впервые поняла: в нашем доме даже еда не принадлежит голодным. С тех пор я всегда покупаю молоко про запас. В моем холодильнике стоит минимум три пакета. Иногда они портятся, и муж спрашивает, зачем столько. Я отвечаю: «Привычка». Не говорю ему, что каждый синий пакет на полке — это маленькая защита от той девочки, которая стояла в магазине и не знала, что стыд бывает холодным и прямоугольным.

Шкаф

У нас был большой шкаф с зеркалом. Дверца скрипела, внутри пахло старыми пальто и мамиными духами, которыми она пользовалась только до того, как начала пить. Я научилась залезать в шкаф так тихо, что даже вешалки не звенели. Шкаф был моим домом внутри дома. В комнате могли ходить чужие люди, на кухне могли смеяться, ругаться, падать стулья, а в шкафу было темно и тесно. Но темнота не пугала. Пугали щели света между дверцами, потому что через них было видно ноги взрослых. Мамины гости появлялись внезапно.

Один приносил пластиковый пакет с бутылками, другой — рыбу в газете, третий просто приходил, потому что где пьют, там всегда находится место для еще одного. Они называли меня «дочка», «принцесса», «маленькая хозяйка». Я ненавидела эти слова. Хорошие слова во рту пьяного человека становятся липкими. Мама сначала оживлялась. Красила губы перед мутным зеркалом, смеялась громче всех, ставила музыку. Мне в такие минуты казалось, что она не мать, а девочка, которую кто-то выпустил из плохого сна и она не хочет возвращаться.

Потом музыка становилась слишком громкой, смех — рваным, а один из мужчин обязательно начинал спрашивать: «А где малая?» Я уже была в шкафу. В ту ночь гостей бы-

ло четверо. Я считала по обуви: грязные ботинки у двери, женские сапоги на каблуке, кроссовки с развязанным шнурком и папины старые тапки на чужих ногах. Тапки меня почему-то испугали больше всего, будто дом признал этого человека своим. Мама пела. Не слова, а обрывки. Потом кто-то уронил тарелку. Потом кто-то сказал: «Пойду посмотрю, что там за комната». Шкаф сжал меня со всех сторон.

Я сидела на корточках между зимним пальто и коробкой с елочными игрушками. В руках держала вешалку как оружие. У вешалки был тонкий металлический крючок, жалкий и холодный. Я понимала, что он не поможет. Но без него было еще страшнее. Дверь комнаты открылась. Чужие ноги остановились у кровати, потом у письменного стола. Мужчина насвистывал. Он подошел к шкафу. Я увидела через щель его колени, пятно на штанах, руку, которая легла на ручку. В эту секунду на кухне мама закричала. Не от страха — от смеха, но громко. Мужчина обернулся, выругался и ушел.

Я сидела в шкафу еще час, хотя ноги затекли так, что в них будто насыпали стекла. Под утро гости уснули где попало. Один на полу, другой за столом, женщина в ванной, мама на диване с открытым ртом. Я вылезла из шкафа и пошла на кухню. На столе стояли недопитые стаканы. Потом увидела на зеркале шкафа отпечаток своей ладони изнутри.

Взрослые любят спрашивать, почему дети из таких семей потом не любят гостей. Почему им сложно расслабиться на праздниках, почему они проверяют, где выход, почему улы-

баются и одновременно слушают коридор. Я не знаю, как объяснить коротко. Наверное, так: когда твой первый безопасный дом — шкаф, любая открытая дверь кажется угрозой.

Балкон

Зимой отец воспитывал меня холодом. Он говорил, что из мальчика можно вырастить тряпку, если его все время жалеть. Жалели меня, по его мнению, все: мама, бабушка, учительница, даже соседская собака, которая тыкалась носом в мою ладонь, когда я возвращался из школы. Мне было девять. Я боялся темноты, громких голосов и того момента, когда отец открывал бутылку об край стола. Крышка отлетала, звякала, и я понимал: скоро начнется воспитание. В тот день я разбил чашку. Не хрустальную, не дорогую, обычную, с облезлым рисунком корабля.

Она выскользнула из рук, потому что отец стоял за спиной и дышал перегаром мне в затылок. Я наклонился собирать осколки, но он сказал: «Не трогай. Руки порежешь.». Он вывел меня на балкон в тапках и футболке. На улице был минус. Дверь захлопнулась. Я стучал ладонью в стекло и думал, что мама откроет, обнимет. Мама была на кухне, она смотрела не на меня, а на пол, туда, где лежали осколки чашки.

Отец сел за стол напротив балконной двери. Он видел меня прекрасно. Поднимал стакан, пил, морщился, как будто мерз не я, а он. Иногда он показывал пальцем: мол, стой ровно. Иногда смеялся. Я сначала кричал. Потом понял, что крик забирает тепло. Тогда я начал прыгать. Тапки скользили по бетонному полу. Пальцы ног онемели. Ладони прили-

пали к стеклу, когда я снова попытался стучать. На соседнем балконе зажегся свет. Женщина в шерстяной кофте вышла покурить. Она увидела меня. Я помню ее лицо: не злое, не доброе, просто усталое.

Она посмотрела, затянулась и ушла обратно. Через минуту у нее погас свет. Я тогда понял страшную вещь: взрослые могут видеть и все равно ничего не делать. Минуты стали длинными, как коридоры в больнице. Я перестал чувствовать ноги. Я пытался представить лето, речку, горячий песок, но в голове все равно было стекло, за стеклом — отец, за отцом — мама, которая не смотрит. Когда он наконец открыл дверь, я не смог сразу зайти. Ноги подогнулись, и я упал на пороге. Отец поднял меня за подмышки и сказал: «Вот. Теперь будешь аккуратнее».

Мама растирала мне ступни полотенцем и плакала так тихо, что я злился на нее сильнее, чем на него. Я хотел, чтобы она кричала. Чтобы ударила его чемнибудь. Чтобы открыла дверь раньше. Но она только повторяла: «Сынок, потерпи. Не надо было злить». На следующий день в школе я не мог писать. Пальцы слушались плохо, буквы расплзались. Учительница взяла мою руку, увидела опухшие красные суставы и спросила, что случилось. Я сказал, что забыл перчатки. Она сказала: «Надо быть ответственным».

Сейчас мне сорок. Я живу в квартире без балкона. Когда покупал жилье, риелтор водил меня по светлым комнатам, показывал вид, говорил: «А здесь чудесная лоджия». Я улы-

бался и отвечал: «Не надо». Он думал, я боюсь высоты. Я не боюсь высоты. Я боюсь двери, которая закрывается изнутри, и взрослых за стеклом, которые делают вид, что не слышат.

Батарея

Зимой подъезд становился ночлежкой для детей, которых не пустили домой. Не официально, конечно. Официально у всех были квартиры, родители, прописка, школьные дневники с подписями. Неофициально мы знали: если в твоей квартире сегодня опасно, иди к батарее между третьим и четвертым этажом. Там теплее всего. Первым там стал тусить Пашка. Его отец пил и выгонял его «погулять», когда приводил женщин. Пашка брал с собой школьный рюкзак, садился на ступеньку, подкладывал под себя учебник по природоведению и говорил, что ему нормально. У нормального человека в десять вечера дома кровать. У Пашки была батарея.

Потом к нему присоединился я. Потом девочка с первого этажа, Лена, у которой мать запирала дверь и уходила «на пять минут» до утра. Мы не дружили по-настоящему. Взрослые думают, что общая беда сближает. Иногда она просто сажает рядом трех испуганных детей, которым нечего сказать. Мы сидели молча. Слушали лифт. Если он останавливался на твоём этаже, сердце прыгало: может, за тобой пришли. Чаще приходили не за нами. Соседи проходили мимо, делали вид, что мы часть подъезда: как почтовые ящики, облупленная краска, запах кошек. Однажды к нам вышла баба Зоя с пятого. В халате, в платке, с железной кружкой.

Мы испугались, думали, прогонит. Она сказала: «Чай бу-

дете?» Мы кивнули. Чай был сладкий, почти сироп. Она принесла три куска хлеба с маслом. Ела с нами на лестнице, потому что, как сказала, «у меня дома кот злой». Кота у нее не было. Просто она понимала, что если позовет нас в квартиру, мы можем испугаться еще больше. Баба Зоя стала нашей ночной станцией. Иногда приносила целый пакет: хлеб, яблоки, конфеты «Коровка». Никогда не спрашивала лишнего.

Весной баба Зоя умерла. Вместе с ней из подъезда исчез чай без вопросов. Пашка стал ночевать в подвале. Лена куда-то переехала.

Сейчас в новых домах теплые подъезды, камеры, домофоны, консьержи. Люди говорят: безопасно.

Я смотрю на эти чистые лестницы и думаю о детях, которым там сидеть, если дома начнется ад. Я не романтизирую нашу батарею. Она была грязная, обжигала спину, от нее пахло железом. Но рядом с ней мы знали: мы не одни в том, что нас не пустили домой.

Комната без двери

Когда в доме появился отчим мама сказала: «Теперь у нас будет настоящий мужчина». Он пришел с двумя сумками, электробритвой и привычкой открывать двери без стука. Сначала он был даже тихий: чинил кран, покупал хлеб, называл маму «женщина моя». В двенадцать лет еще можно перепутать контроль с заботой, а тяжелый взгляд — с надежностью.

Пить он начал через месяц. Или не начал, а перестал скрывать. Пил аккуратно: закрывался на кухне, ставил стакан в раковину, жевал лавровый лист, чтобы не пахло. Пахло все равно. Мама делала вид, что не замечает. Я делала вид, что не боюсь.

Однажды он сказал, что дверь в мою комнату мешает заносить шкаф. Шкаф занесли, дверь не вернули. Она стояла в коридоре неделю, прислоненная к стене, как снятая кожа. Потом куда то вынес. «Тебе нечего скрывать», — сказал он.

Я стала спать лицом к проему. Однажды я проснулась, отчим стоял в проеме и смотрел на меня.

— Чего?

— Пить хочу.

Он усмехнулся и ушел на кухню. Наутро я рассказала маме. Она устала, опухла после ночи, волосы прилипли к вискам. «Не придумывай», — сказала она. «Он просто прове-

рял, дома ли ты». В этом «просто» жило все наше бессилие. Просто выпил. Просто разозлился. Просто зашел. Просто ребенок слишком чувствительный.

Я начала спать в одежде. Джинсы, свитер, носки. Летом было жарко, но без одежды я чувствовала себя совсем беззащитной. В школе подруги обсуждали мальчиков, косметику, первые поцелуи. Я обсуждала тоже, но мысленно считала: сколько ночей до каникул, можно ли уехать к бабушке, почему бабушка не зовет.

Однажды классная руководительница спросила, почему я такая замкнутая. Я почти сказала. Уже открыла рот. Потом вспомнила мамин голос: «Не выноси сор из избы». Сор — это мусор. Значит, я сама была мусором, если меня нельзя было вынести наружу.

Когда я выросла и сняла первую комнату, первое, что купила, была ручка с замком. Дешевая, блестящая, с двумя ключами. Я установила ее сама, криво, поцарапала дверь. Потом закрылась изнутри, села на пол и заплакала. Не потому, что было плохо. Потому что впервые в жизни чужие могли войти только после стука.

Запах дыма

Диван загорелся в четыре часа утра. Я не видел огня сразу. Сначала был запах — сладкий, тошнотворный, как будто кто-то жарил старую одежду. Потом кашель младшего брата. Потом темнота стала серой. Отец уснул с сигаретой. Он всегда говорил, что контролирует себя. Даже когда засыпал сидя на унитазах, даже когда ел суп руками. «Я себя знаю», — говорил он. Диван тоже, наверное, думал, что он его знает. Мы с братом спали в одной комнате. Брату было шесть. Он кашлял и звал маму. Мама в ту ночь ушла к тете. Меня она не взяла. Сказала: «Ты старший, присмотри». Старшему было двенадцать.

Я открыл дверь в коридор, и дым вошел в комнату, как живой. Он был плотный. Отец лежал на полу рядом с диваном и хрипел. Я схватил брата за руку. Он плакал, спотыкался, спрашивал про игрушечного медведя. Я крикнул: «Потом!» Хотя никакого потом для медведя уже не было. Дверь в квартиру открывалась плохо. Отец когда-то ударил ее ногой, и замок заедал.

В подъезде кто-то стучал снаружи: соседи проснулись от дыма. Я слышал их голоса, но дверь не поддавалась. В какой-то момент отец поднялся. Не совсем поднялся — встал на колени, как огромный больной зверь. Он смотрел на нас сквозь дым и ничего не понимал. Потом сказал: «Куда со-

брались?» Эта фраза страшнее огня. Огонь хотя бы знал, что делает. Я закричал так, что сорвал горло. Сосед выбил дверь плечом. Нас вынесли на лестницу. Брат был в одних трусах, я в майке, отец в закопченной рубашке.

Мама приехала утром. Она плакала, обнимала брата, потом меня, потом отца. Все говорили: «Слава богу, обошлось». Брат неделю не разговаривал. Ночами он садился в кровати и дышал открытым ртом, будто снова искал воздух. Отец бросил курить. На три недели. Потом начал снова, но уже на кухне, возле раковины. Мама говорила: «Он же аккуратно теперь».

Я смотрел на черное пятно на стене, которое не отмывалось никаким порошком, и думал: аккуратно — это когда ребенок не должен выносить брата из дыма. Теперь я не могу спать в комнате с закрытой дверью. Всегда оставляю щель. Жена сначала обижалась: ей казалось, что я не люблю уют. Потом однажды ночью она услышала, как я встаю проверить плиту, утюг, зарядку, пепельницу, которой у нас нет. Она ничего не сказала. Просто на следующий день купила маленький пожарный датчик.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.